



Ominayashi

*Корабли, плывущие
в разные стороны*

Ominayashi

**Корабли, плывущие
в разные стороны**

«Автор»

2026

Ominayashi

Корабли, плывущие в разные стороны / Ominayashi — «Автор», 2026

«Корабли, плывущие в разные стороны» — роман взросления о двух сиротах, чьи пути то расходятся, то снова сходятся, как корабли в открытом море. Омилия Фейн и Скотт Райли вырастают в приюте Святого Гиацинта в английском городке Кроли. Она — тихая, внимательная, с почерком, «как маленькие солдатики на параде». Он — мечтатель с молнией на носу, который видит в звёздах не светила, а маяки и выдумывает Париж так убедительно, что тот почти существует. Под берёзой в дальнем углу приютского сада они делят мечту о свободе — и однажды эта мечта уносит их из Кроли. Но мир за стенами приюта не похож на книгу. Лондон встречает их холодом и грязью, море разлучает, а Париж — город фонарей, который Скотт так долго придумывал, — оказывается слишком большим, чтобы двое детей могли удержаться вместе в нём.

© Ominayashi, 2026

© Автор, 2026

Ominayashi

Корабли, плывущие в разные стороны

Корабли, плывущие в разные стороны

Глава первая, в которой пахнет хлебом и бедой

В городке Кроли, что в графстве Нортгемптоншир, стоял приют Святого Гиацинта — длинное, двухэтажное здание из серого камня, покрытое плющом настолько густо, что казалось, будто дом не построен, а выращен. Плющ был повсюду: он заползал в щели между рамами, просовывал любопытные усики в форточки, а осенью становился таким багровым, что прохожие на дороге замедляли шаг и думали, что приют горит. Он не горел. Он просто жил — тяжело, медленно, как живут все старые дома, набитые детьми.

Внутри пахло хлебом. Это был главный запах — не потому что хлеба было много, а потому что его было мало, и каждый его кусочек обретал в детских ноздрях значение, какого не имеет ни один парфюм. Пахло ещё меловой пылью, мокрой шерстью (после дождя всей приютской гвардии случалось сушить одежду в коридоре), и чем-то неуловимо горьким — то ли старым деревом полов, то ли самой бедностью, у которой, оказывается, есть свой запах: что-то среднее между сырым подвалом и остывшим чаем.

Омилия Фейн была из тех детей, которые словно родились уже понимающими, что от них требуется. Она сидела за партой прямо, спину держала так, словно на голове несла невидимую чашку с водой, и почерк у неё был такой, что учитель, мистер Пибоди, однажды сказал: «Фейн, твои буквы похожи на маленьких солдатиков, выстроившихся на парад». Он сказал это, конечно, не в качестве комплимента — мистер Пибоди вообще не умел делать комплименты, — но Омилия покраснела от удовольствия, потому что она любила порядок, а порядок, как она полагала, и есть форма любви к миру.

Ей было двенадцать. У неё были тёмные, стриженные неровно волосы (в приюте стригли всех под одну гребёнку, и нечего было ждать парикмахерского искусства), глаза цвета не то ореха, не то старого янтаря, и такая привычка молчать, когда другие кричат, что взрослые считали её либо очень умной, либо очень глупой. Между тем она была ни тем, ни другим — просто внимательной. Она видела всё. Она знала, кто украл масло из кухни (Грэнди Смит, у него пальцы были такие липкие, что масло само к ним липло), кто написал гадость на стене отхожего места (Хэтч Бойд, потому что он не мог пройти мимо чистой стены, как художник не может пройти мимо чистого холста), и кто разбил окно в классе...

Кто разбил окно — это, конечно, был Скотт Райли.

Скотт был на год старше Омилии, на голову выше и на три головы хлопотнее. Он был из тех мальчишек, про которых говорят «скорость на ножках»: ходил быстро, говорил быстрее, думал — как подозревал мистер Пибоди — быстрее всех в приюте, но думал не о том, о чём следовало. У Скотта были светлые, выцветшие волосы, которые торчали во все стороны, как антенны у какого-нибудь изобретения, нос со шрамом (упал с дерева в шесть лет, и шрам остался в форме молнии), и глаза — серые, быстрые, с такими искорками в глубине, будто там, внутри, кто-то постоянно поджигал спички и тут же их задувал.

У Скотта была банда. В приюте Святого Гиацинта, где было тридцать семь детей от пяти до четырнадцати лет, иметь банду было естественнее, чем иметь манеры. Скоттова банда состояла из трёх человек: сам Скотт, неразлучный Тобиас Криг — маленький, круглый, с вечно красным лицом и необъяснимой способностью появляться в нужном месте, — и Молчаливый Нед, про которого никто не знал, молчит ли он по выбору или потому, что однажды проговорился и с тех пор решил больше не рисковать. Нед был тощ, длиннорук, и умел влезть в любое окно, чем банда и пользовалась.

Но Скотт был не просто хулиган. Он был — и Омилия это знала, хотя не сказала бы никому, — он был мечтатель. Когда все спали, он лежал на своей койке и смотрел в окно (то самое, которое однажды сам же и разбил, пока не вставили новое), и видел в небе не звёзды, а маяки. Он знал названия кораблей, которые никогда не видел. Он знал, что в Париже есть река, которая называется Сена, и что она шире, чем речка Энн, на берегу которой стоял Кроли, и что по ней ходят лодки с фонариками. Откуда он это знал — непонятно. Может быть, из старой книги, которую кто-то подарил приюту и которая затерялась между «Житием Святого Гиацинта» и «Наставлениями юношеству». А может быть, он просто выдумал Париж — но выдумал так убедительно, что Париж почти существовал.

Омилия любила его за это. Любила — так, как умеют любить дети: без слов, без объяснений, без понимания, что это, собственно, и есть любовь. Она просто знала, что когда Скотт входит в столовую, мир становится ярче на полтона. Что когда он смеётся (а он смеялся громко, захлёбываясь, запрокидывая голову), внутри у неё что-то переворачивается — не страшно, а приятно, как когда качаешься на качелях и в нижней точке живот улетает вверх. Она не говорила ему этого. Она вообще ему почти ничего не говорила. Но она прикрывала его.

А прикрывать было что.

Глава вторая, в которой Скотт Райли крадёт, а Омилия Фейн краснеет

Директор приюта, мистер Кроуш, был человек характера скорее гранитного, чем человеческого. Высокий, сухой, с бакенбардами, которые казались приклеенными к лицу с некоторой враждебностью, он управлял приютом так, как если бы это была военная крепость, а дети — гарнизон, склонный к мятежу. Он носил чёрный сюртук с высоким воротником, и воротник этот был настолько твёрд, что голова мистера Кроуша казалась насаженной на плечи отдельно, как на шест. Он говорил медленно, глядя поверх очков, и каждая его фраза звучала так, будто он уже приговорил собеседника, но из великодушия позволяет тому ещё немного поболтать.

Скотт и мистер Кроуш ненавидели друг друга с первого дня — то есть с того дня, когда Скотту было семь и он, увидев в кабинете директора глобус, повернул его так, что Англия оказалась внизу. Мистер Кроуш вошёл, увидел, и сказал: «Райли, ты будешь наказан». Скотт ответил: «За что? Я просто хотел посмотреть, как выглядит мир, когда всё вверх ногами. Может быть, так правильнее». Мистер Кроуш выпучил глаза, побагровел и посадил Скотта в тёмную комнату на хлеб и воду. Скотт просидел там три часа, после чего вылез через вентиляционное окно, забрался на крышу и спустил вниз верёвку, по которой выбрались ещё четверо детей, которым тоже полагалось наказание. Это был первый день, когда Скотт стал легендой.

С тех пор они с мистером Кроушем вели войну. Война была маленькая, партизанская, на истощение. Мистер Кроуш вводил правила — Скотт их нарушал. Мистер Кроуш запирал кладовую — Скотт находил, как в неё попасть. Мистер Кроуш ставил в коридоре надзирательницу, миссис Тадмор — Скотт отвлекал её так изящно, что она сама не замечала, как отвлекалась.

Кражи Скотта были мелкие, но систематические. Он не крал деньги — не из морали, а потому что денег в приюте было примерно столько же, сколько слонов. Он крал еду: булочки из кухни, сыр, однажды — целую банку варенья, которую банда употребила на крыше, сидя ногами в воздухе и глядя на звёзды. Он крал мелочи: перочинный ножик, которым никто не пользовался, огарок свечи, катушку ниток. Он крал не потому, что был зол, а потому что был голоден — и не в животе, а в душе, где у каждого человека есть своя кладовая, и если она пуста, человек начинает заполнять её чужими вещами, надеясь, что хоть что-то приживётся.

Омилия знала о каждой краже. Не потому что была свидетелем — потому что была внимательна. Она видела, как Скотт прячет булочку под куртку: быстро, незаметно, но его левая рука при этом делает странное движение, будто гладит украденное сквозь ткань. Она видела, как он меняется в лице, когда мистер Кроуш проводит обыск: ничто не дрогнет, только левая бровь чуть поднимается, и Омилия знала — это его «покер-фейс», и он очень им гордится.

И она прикрывала.

Однажды — это было в начале осени, когда листья на дубах в саду приюта стали жёлто-красными и падали так густо, что дворник Пиппин каждое утро просыпался и плакал, потому что метла у него была одна, а листья были — тысячи — однажды Скотт украл из кабинета мистера Кроуша серебряную печать. Не для чего-то — просто потому что она была красивая: круглая, с ручкой в виде головы льва, и от неё пахло чем-то старинным, сургучом и властью. Скотт показал её Омилии за углом, в нише, где стояли метлы, и где они иногда разговаривали — то есть Скотт разговаривал, а Омилия слушала, и это было почти разговор, только тише.

— Смотри, — сказал Скотт, и протянул печать на ладони. — Лев. Настоящий лев. Если бы у нас был лев, мы бы не боялись Кроуша.

— Если бы у нас был лев, нам бы не бояться пришлось, а убегать, — сказала Омилия. — Львы едят людей.

— Не едят, — сказал Скотт. — Они едят только тех, кто боится. Кроуша они бы съели первыми.

Омилия засмеялась — тихо, в ладонь, потому что смеяться в приюте было не принято, а громко — тем более. Скотт смотрел на неё, и в его серых глазах что-то менялось: искорки не гасли, нет, но становились мягче, теплее, как угли, когда на них ставят чайник.

— Фейн, — сказал он, — ты не сдашь меня Кроушу?

— Нет, — сказала Омилия. И это было всё. Ей не нужно было объяснять. Он не просил объяснений. Он просто знал.

Печать Скотт вернул — не из раскаяния, а потому что мистер Кроуш объявил, что у того, кто вернёт печать, будет дополнительный кусок пудинга в воскресенье. Скотт положил печать на стол директора с таким видом, будто нашёл её на полу, и мистер Кроуш, который знал правду так же хорошо, как Омилия, но не мог её доказать, посмотрел на Скотта поверх очков и сказал:

— Райли, ты меня когда-нибудь доконаешь.

— Сэр, — сказал Скотт, — я стараюсь.

Их ссоры были зрелищем. Они происходили в кабинете директора, дверь которого была толстой, дубовой, но не настолько, чтобы заглушить голос мистера Кроуша, когда тот повышал его до полного своего регистра. Голос этот был похож на органнй: начинался с баса и заканчивался где-то в верхах, на ноте, которую можно было сравнить с воем сирены, если бы сирена была обижена и возмущена.

— Райли! — гремел мистер Кроуш. — Ты украл из кладовой три булки и полголовки сыра!

— Сэр, — отвечал Скотт с таким искренним лицом, будто ему сказали, что у него выросли крылья, — я не крал. Я взял. Есть разница. Украсть — это когда у того, у кого берёшь, это есть в достатке. Вы же не скажете, что у нас в приюте избыток сыра?

— Это не твоё дело — решать, что избыточно, а что нет!

— Конечно, сэр. Это ваше дело. Но я был голоден, а голод, сэр, это не вопрос юрисдикции.

Тишина, которая следовала, была тяжелее, чем все слова. Мистер Кроуш побагровеет, побелеет, схватится за край стола, и Омилия, сидящая в классной комнате через стену, услышит каждый вздох, каждый стул, скрипнувший под директорским весом, и будет молиться — не богу (она не была уверена, что он их слышит), а чему-то безымянному, чему-то, что больше бога, — чтобы Скотта не выгнали. Потому что если Скотта выгонят, она останется здесь одна, а одна — это не просто без него, это без всей полноты мира, потому что мир без Скотта был как приют без плюща на стенах: тот же камень, та же крыша, но безжизненный.

Скотта не выгоняли. Мистер Кроуш, при всей своей гранитности, был не лишён чего-то, что он сам, вероятно, назвал бы слабостью, а я бы назвал чувством справедливости. Он знал,

что дети в его приюте не сыты. Он знал, что Скотт не вор — он просто мальчик, который вырос без родителей, без дома, без кого-то, кто бы ему сказал: «Вот тебе сыр, ешь и не кради». Мистер Кроуш наказывал Скотта — лишал десерта, ставил в угол, однажды даже заставил мыть все окна в здании, и Скотт мыл их так, что они засияли, и мистер Пибоди сказал: «По крайней мере, у Райли есть талант к чему-то», — но он не выгонял его.

Потому что выгнать — это значит признать, что ты не справился. А мистер Кроуш не признавал поражений. И Скотт не признавал. В этом, если вдуматься, они были похожи — но ни тот, ни другой об этом не думал.

Глава третья, в которой осень становится зимой, а мечты — Парижем

Осень в Кроли была хороша. Я не скажу «красива», потому что «красива» — это слово для открыток, а осень в Кроли была не для открыток. Она была для тех, кто умеет смотреть. Деревья в саду приюта — два дуба, ясень и почему-то одна берёза, которая, по слухам, посадила её кухарка миссис Палмер лет тридцать назад, и с тех пор берёза жила как бы сама по себе, не подчиняясь общему распорядку — эти деревья осенью делались такими, что дух захватывало. Дубы — медно-красные, тяжёлые, будто налились свинцом и светом одновременно. Ясень — жёлтый, прозрачный, сквозной, как вуаль, которую кто-то забыл на ветке. Берёза — золотая, мелколистная, дрожащая, и каждый лист на ней был как маленькая монетка, и когда ветер — а ветер в Кроли осенью был постоянный, не сильный, но неутомимый — когда ветер проходил по берёзе, дерево звенело. Не в прямом смысле, конечно, но Омилия клялась, что слышала звон.

Скотт и Омилия сидели под берёзой. Это было их место — не потому что они его выбрали, а потому что оно выбрало их. Берёза стояла в дальнем углу сада, у стены, и с одной стороны её закрывал куст боярышника, а с другой — поленница дров, и получалось что-то вроде беседки, только из дерева и дров. Там они разговаривали.

В тот день — это был конец октября, небо было низкое, серое, но не давящее, а скорее ласковое, как потолок комнаты, в которой горит свеча, — в тот день Скотт сказал:

— Фейн, а ты знаешь, как выглядит Париж?

Омилия не знала. Она вообще мало что знала о мире за пределами Кроли, и её знания о мире за пределами приюта были ещё скуднее. Она знала Лондон — по описаниям в книгах, которые мистер Пибоди давал лучшим ученикам, а Омилия была лучшим учеником, и книги были её единственным окном, но окно это было маленькое, и за ним виднелся скорее Лондон, чем Париж.

— Не знаю, — сказала она.

— Там есть река, — сказал Скотт. — Сена. Она шире нашей Энн в десять раз. По ней ходят лодки, и на лодках горят фонарики. А вдоль реки стоят дома — не такие, как здесь, а каменные, высокие, с балконами, и на балконах растут цветы. И есть башня — железная, огромная, и она такая высокая, что с неё видно весь город.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю, — сказал Скотт, и не стал объяснять. Он никогда не объяснял, откуда знает то, что знает. Может быть, от старого матроса, который однажды прошёл через Кроли и ночевал в приюте, и Скотт сидел рядом с ним у камина и слушал. А может быть, от книги. А может быть, он просто выдумал — но выдумал так, что Омилия ему поверила, потому что Скотт умел выдумывать вещи, которые были правдивее правды.

— А как туда попасть? — спросила Омилия.

— На корабле, — сказал Скотт. — От Лондона до Кале. А от Кале — до Парижа. Это недалеко. Полдня пути, может, день.

— Ты был на корабле?

— Нет. Но я знаю, как они устроены. У них есть мачта, и парус, и капитан, и трюм, где можно спрятаться.

— Спрятаться?

Скотт посмотрел на неё, и его левая бровь поднялась — тот самый знак, который Омилия знала лучше, чем буквы в своих тетрадах. Это означало: план уже есть, и он безумен, и нам предстоит его обсудить.

— Фейн, — сказал Скотт, — мы сбежим.

Зима в Кроли была долгой. Она приходила не сразу, а постепенно, по капле, как тает лёд — только наоборот, наоборот, не тает, а нарастает. Сначала иней на траве — тонкий, как первый седой волос. Потом — туман по утрам, такой густой, что приют казался плывущим в облаке, и стены его исчезали, и крыша исчезала, и оставался только запах хлеба, и этот запах в тумане был как маяк, как ориентир, как доказательство того, что мир ещё существует. Потом — первый снег, и он был не белым, а серебряным, розовым, голубым, как угодно, только не белым, потому что чисто-белый снег бывает только в учебниках, а в жизни он живой, он переливается, он дышит.

В ту зиму Скотт и Омилия готовились к побегу. Они готовились тайно, как заговорщики, — что, в сущности, они и были. Скотт собирал припасы: сухари, украденные из кладовой по одному-два, чтобы миссис Палмер не заметила; верёвка, найденная в подвале; спички, выменянные у Хэтча Бойда за обещание научить его прыгать через забор (Скотт научил — Хэтч прыгал, сломал забор и получил от мистера Кроуша два дня исправительных работ, но был счастлив, потому что забор был врагом его детства). Омилия собирала деньги — по пенни, по полпенни, которые перепали от пожертвований, и от тех пенни, которые мистер Пибоди давал лучшим ученикам за правильно выполненные задания. Накопилось одиннадцать пенни и три полпенни. На билет до Лондона не хватало, но Скотт сказал:

— Билет — это для тех, кто не умеет прятаться. Мы умеем.

Омилия не была уверена, что умеет. Она вообще не была уверена, что побег — хорошая идея. Но когда Скотт говорил о Париже — а он говорил о нём всё чаще, и голос его при этом менялся, становился тише и серьёзнее, и глаза его переставали искриться и начинали гореть ровным, неугасимым светом, — когда Скотт говорил о Париже, Омилия верила, что Париж существует не где-то там, а здесь, рядом, в двух шагах, и нужно только сделать эти два шага, и вот он — весь, с рекой, и башней, и фонариками на лодках.

В декабре случилась большая ссора. Мистер Кроуш нашёл под матрасом Скотта мешочек с сухарями и верёвку. Он вызвал Скотта в кабинет, и Омилия, сидевшая в классной комнате, слышала всё — каждое слово, каждый удар кулака по столу, каждый скрип стула.

— Райли, — сказал мистер Кроуш, и голос его был тих, а от тихого голоса мистера Кроуша было страшнее, чем от громкого, — что это?

— Сухари, сэр, — сказал Скотт. — И верёвка.

— Я вижу, что сухари и верёвка. Зачем?

— Сухари — чтобы есть. Верёвка — чтобы... верёвки всегда пригодятся, сэр.

— Райли, ты собрался бежать.

Тишина. Омилия затаила дыхание. Она слышала, как тикают часы на стене кабинета — большие, старые, с маятником, который скрипел на каждом качании, как старик, вздыхающий во сне.

— И если даже так, сэр? — сказал Скотт. — Куда мне бежать? Куда я пойду? Я сирота, сэр. Мой дом — здесь. Как бы я ни старался это забыть.

Мистер Кроуш молчал долго. Потом сказал:

— Райли, я тебя не выгоню. Не потому что ты этого заслуживаешь, а потому что это не поможет. Но если ты сбежишь, я не буду тебя искать. Ты понимаешь?

— Да, сэр.

— Ступай.

Скотт вышел. Омилия видела, как он прошёл по коридору — быстро, как всегда, но плечи его были опущены, и это было так непохоже на Скотта, что Омилия почувствовала боль — не в сердце, а где-то ниже, в животе, в том месте, где у неё всегда болело, когда что-то было совсем плохо.

Она вышла в коридор. Он стоял у окна. За окном шёл снег — мелкий, сухой, как крупа, и свет от фонаря на улице был жёлтый и жалкий, и снежинки в этом свете казались мотыльками, которые летят на свет и обжигаются.

— Он знает, — сказал Скотт, не оборачиваясь.

— Я слышала.

— Фейн, мы уйдём раньше, чем он думает. Не весной, как я планировал. Сейчас.

— Сейчас зима, Скотт.

— Зима — лучшее время, чтобы исчезнуть. Снег замечает следы.

Она посмотрела на него. Он обернулся. И в этот момент — Омилия поклялась бы в этом, хотя ничего не произошло, ничего сверхъестественного, ничего, что можно было бы описать как чудо, — в этот момент мир разделился пополам. Одна половина была приютом, Кроли, Англией, всем тем, что она знала. Другая половина была — Скотт. И она выбрала вторую половину, не думая, не колеблясь, не взвешивая, как взвешивают на весах в магазине, потому что любовь не взвешивают, любовь — это когда весы ломаются.

— Я с тобой, — сказала Омилия Фейн.

Глава четвёртая, в которой они уходят в ночь

Они ушли в ночь — в ту ночь, которая была самой длинной в декабре, за три дня до Рождества, когда весь приют спал и мистер Кроуш, выпив бренди больше обычного, храпел в своём кабинете так, что стены дрожали.

Снег шёл. Он шёл не так, как обычно, — не мотыльками, а медленно, большими хлопьями, как будто небо решило укрыть землю толстым одеялом и делало это заботливо, не торопясь. Сад приюта был белым и тихим, и берёза стояла, вся в снегу, как невеста, и Омилия, проходя мимо, коснулась её ствола рукой и прошептала: «Прости». Ей показалось, что берёза ответила — веткой, качнувшейся без ветра, но, может быть, это был просто снег, сползший с ветки.

Они перелезли через стену. Стена была невысокая — из старого кирпича, поросшего мхом, и в одном месте в ней была щель, через которую Скотт пробирался с тех пор, как ему было девять. Он знал каждый кирпич, каждый выступ, каждый мох, и лез по стене с такой лёгкостью, будто она была лестницей, а не препятствием. Омилия лезла медленнее — она была не гимнасткой, и платье путалось в ногах, — но Скотт подавал ей руку, и его рука была тёплая и твёрдая, и Омилия думала: «Если я не отпущу эту руку, я не упаду». Она не отпустила. Она не упала.

По ту сторону стены начинался мир.

Мир был — поле. Белое, ровное, уходящее во все стороны, и на нём — ни следа, ни тропинки, ни человека. Дорога в Кроли была одна — на юг, к Лондону, и они пошли по ней, и снег скрипел под ногами, и этот скрип был самым громким звуком на свете, громче, чем голос мистера Кроуша, громче, чем бой часов в кабинете, громче, чем всё, что Омилия слышала в своей жизни. Она шла и слышала этот скрип и думала: «Вот так и звучит свобода — как снег под ногами, который скрипит, потому что на него ступают впервые».

Шли всю ночь. К утру снег прекратился, и небо стало чистым — не голубым, а каким-то особенным, зимним, глубоким, как будто кто-то снял с неба серую крышку и открыл бездну, и в этой бездне сияли звёзды, хотя было уже почти утро, и звёзды не должны были сиять, но они сияли, потому что ночь ещё не сдалась.

К полудню они дошли до станции. Станция была маленькая — одна платформа, одно здание, похожее на домик из пряников, один билетёр, который дремал у окна. До Лондона шёл поезд в три часа дня. Билет стоил два шиллинга. У них было одиннадцать пенни и три полпенни.

— Недостаточно, — сказала Омилия.

— Достаточно, — сказал Скотт. — Мы поедем без билета. В товарном вагоне.

Товарный вагон был открытый — то есть крыша была, но стен не было, только борта, и в вагоне лежали мешки с углём. Они залезли туда, зарылись в мешки, как двое щенков, и уголь был чёрный и холодный, и пах он землёй и временем, и Омилия прижалась к Скотту, и Скотт обнял её, и они ехали так, и стучали колёса, и пар из трубы локомотива летел над ними белым облаком, и Омилия смотрела вверх, в небо, и думала: «Мы едем. Мы действительно едем».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.